

Открытка

*Такую заводят пластинку
весь город плывет и цветет
сквозь вечер отрадный и тихий
прохожий как время идет*

*обратно где помнят и любят
с балкона из детства зовут
и юные майские люди
по птичьему праву живут*

Адонаи

Поэма

Часть первая

1

Его попутчик сойдет глубокой ночью в Арзамасе. Простятся коротким рукопожатием, через две минуты поезд тронется. В одиночестве Петр наконец развернет на полке матрас и неторопливо, по-бурсацки аккуратно расстелет постельное белье. Он снимет подрясник и повесит его на плечики у двери. Припадая на правую ногу от покачивания, подрагивания несущегося сквозь ночь спального вагона, и всего длинного состава, и насыпи под ним, да и самой сырой земли, по которой проложен его железнодорожный путь, Петр выйдет в коридор и похромает в уборную. По возвращении мягко захлопнет дверь купе, опустит защелку. Устроившись на полке, заведет, как всякий раз перед отходом ко сну, наручные часы. Наружные — так вот оговоришься однажды и навсегда запомнишь. Нельзя, пока его самого не будет, нельзя, чтобы кончилось время здесь, снаружи — на границе двух сред, над поверхностью воображения. Нельзя, иначе распадутся в прах, иначе исчезнут скрепленные потоком минут образы и формы — и тогда очнешься утром в гулкой пустоте. Как в доме под снос, из которого все съехали и всё свезли.

Тебя одного забыли.

Подтверждая напоследок существование мира, отец Петр окинет взглядом тесное купе. Тусклый свет лампочки в изголовье, висящее у двери одеяние, большое зеркало, начищенные туфли на полу, чуть съехавшая вышитая салфетка на столике, телефон, две початые пластиковые бутылки с водой. На этих сваях ему воссоздавать купе утром. Он вспомнит недавний разговор с молодым соседом. Юность резка и категорична в своем требовании ответов, для нее равно неприемлемы что софистика, что диалектика. Он и сам был таким же — тридцать лет тому назад. Или, как в фильме-сказке, триста. Коротая вечерние часы в купе вдвоем с батюшкой, о чем еще пассажиру потолковать с ним, как не о смысле и предназначении?

Да вот, читаю, скажет юноша, подняв глаза от телефона. Книгу жизни — новости в каналах. Оспуждаете? Он усмехнется. Ну так это о нашей жизни, о нашем времени хотя бы, а не об ископаемых ваших ценностях. С чего мне интересоваться написанным сто, двести, тысячу лет назад — другими людьми, в других вообще реалиях. Смысл? Книги мертвых — макулатура, я хочу читать книгу живого.

Как он задорно пылок, этот мальчик.

Либо смысл есть во всем, либо ни в чем нет. Разве не так?

Вон птица летит за окном. Капли по стеклу стекают. И что?

Бутылка воды стоит — в чем ее смысл?

Так не бывает, добродушно подумает отец Петр, одна звезда не падает дважды. Но теперь, на третьем-то вопросе, наверное, можно и ответить. Или спросить в ответ. Разве не в том, чтобы понять, что вода принимает форму пластиковой бутылки?

Помедлив еще, отец Петр откинется на спину, ляжет, принаравливаясь к перестуку вагонных колес, привыкая к доступному ему пространству, устраиваясь. Будто бы пробуя заранее обжиться в недолгих оставшихся часах железнодорожного сна. Он попытается вытянуться на полке, так чтобы каждая из шестисот с лишним — мудреное, конечно, устройство! — каждая из шести с половиной сотен мышц тела, от самой могучей до самой крохотной, полностью расслабилась. Однако геометрию не обманешь: ноги, как и всегда, не сойдутся в длине с полкой. Опять эти несколько чрезмерных сантиметров росту. Что ж, значит, он повернется на бок, спиной к переборке. Отец Петр подумает о другом мальчике — таком же и совсем другом, — вчера спозаранку стоявшем перед ним в сельской церкви. Может быть, и тот будет ехать куда-то нынешней ночью. К своей семье, к неизвестному своему будущему. Вдох, вдох, выдох. Не убоишися от страха ночного. От стрелы летящая во дни. От вещи во тме преходящая. От сряща и беса полуденного. Гася свет, коротко щелкнет

тумблер — и купе схлопнется в темноту, как раковина двустворчатого моллюска. В руки твои передаю дух мой. Благослови, и помилуй, и даруй жизнь вечную. Вдох, вдох, в... второй тьмой, мертвецкой, уже внутри, уже в глубине, опустятся веки.

Ночным скорым поездом отец Петр Вяхирев едет в Москву к матери своего сына.

Каждый год на протяжении последних десяти лет он на один день приезжает к Жене. Ежегодно седьмого июля. Впрочем, даже не на день — на несколько часов, потому что тем же вечером уезжает обратно.

Однако в этот раз он едет в Москву в ночь на шестое. На шестое, на сутки раньше обычного.

Они встретились двадцать восемь лет назад. Петр учился на заочном отделении и приезжал в столицу на сессии. Конец июня выдался в том году прохладным. Он увидел ее на соседнем эскалаторе в метро, когда спускался на «Новослободскую». Она — невысокая, изящная, легкий загар, свежесть в распахнутом плаще — поднималась вверх. Он успел увидеть лишь самый краешек ее облика, эскиз: думал тогда о чем-то своем, а вскинув глаза, ухватил уже только по касательной — профиль, а затем русые кудряшки, ниспадающие на плечи. Перемахнуть бы ему через балюстраду, стремглав взлететь, обжигая пятки, за своим воображением! Но он — пока выворачивал голову, пока одна лампа, другая — сразу не решился. Спустившись вниз, Петр, конечно, тут же рванул на обратный эскалатор, прыгал через ступеньки, впопыхах вылетел в вестибюль, на улицу — а ее нигде не было.

Все мы прекрасно знаем, что после такого люди никогда уже не встречаются. Память, падчерница вымысла, некоторое время по инерции лелеет беглый, едва уловимый образ, но чем дальше, тем больше образ этот тускнеет, истаивая наконец до полной прозрачности и неразличимости. Мирно растворяется в забвении. Сколько всего не сбылось в нашей жизни — в скольких жизнях не сбылись мы сами.

Однако Петру довелось встретить его мечту еще раз — спустя пять дней, в начале июля, перед

самым своим выездом из общежития. Евгения, оказалось, жила неподалеку, и они столкнулись лицом к лицу на пешеходном переходе. Петр занемел, но не смолчал. Она ответила, что не знакомится с прохожими, тем более на проезжей части, тогда он повторил, что завтра уезжает домой, и спросил ее адрес. Машины объезжали их, раздраженно сигналив.

— Пишите до востребования, — рассмеявшись, сказала она и быстро продиктовала номер почтового отделения и фамилию.

Махнула рукой то ли ему, то ли зеленому человеку со светофора.

Петр слал письма до востребования на имя Евгении Гедеоновой целых полгода — ответных не было ни одного. Но возвратов тоже не было. А когда он написал, что в конце января приезжает на зимнюю сессию, и предложил ей встретиться, она согласилась.

Осенью они поженились. Перед свадьбой Петр сообщил невесте, что история их отношений вообще-то на пять дней длиннее, чем она думает. Рассказал, разводя руками, о том, как он чуть было не потерял ее навсегда и как чудачка судьба снисходительно дала ему второй шанс.

— Петя... Я тогда летала на юга. — Женя усмехнулась. — На две недели. И вернулась я ровно в тот день, который мог стать последним в моей безумной жизни. В тот день, когда один сумасброд никак

не давал мне проходу по зебре и заставил стоять на дороге под красным светом.

После регистрации брака она уехала с мужем к нему в райцентр.

Петр был моложе Жени на четыре года. Семья приняла его избранницу настороженно: москвичка, старше мужа, себе на уме, легкомысленная. Вскоре они стали снимать квартиру. Мир быстр, думал Петр, и едва уловим. Но теперь у них появился свой дом — это было хорошее место, хороший способ замедлить мир. А главное, мир теперь существовал лишь для них и менялся только с их участием: они сами обитали его, согревали его, осваивали. Петр устроился в школу преподавать историю и «общество»; Женя взяла английский сразу в двух. Плюс репетиторство. В городке было три школы и полторы стоящих англичанки, а Евгения Матвеевна оказалась ни много ни мало, как выпускницей московского иныза. Диплом она получила обычный, синий, — но диплом настоящий, честный, купленный ею за кровь и за бессонные ночи. И омыт он был в свое время не шампанским, а ее горячими слезами.

По выходным Женя ходила на почту звонить маме.

— Письма — это вообще не мое, — сказала она сразу, — это какая-то лабуда, самодетельная литература. Ну что я могу сочинить? Я жизнемечтатель, а не жизнеописатель.

На каникулы они уезжали в деревню в десятке километров от райцентра, жили там в старом, но еще крепком бабушкином доме. Места эти Петр знал

сызмальства. Они подолгу гуляли по лесным тропкам, слушали птиц небесных, мчались волчатами домой к обеду, легко дремали, обнявшись. Что может быть на свете чудеснее объятий!.. Вечером вместе катались они на лошадях из соседской конюшни, что держал дядя Илья Аврамов. На закате бегали купаться на большой пруд, возвращаясь тишком под фатой поземного тумана.

Время останавливалось подле них, чтобы полюбоваться ими.

Бабе Уле невестка пришлась по сердцу.

— Енюша, лапушка, — говорила она тепло, — не сиди ты за полночь за книжками своими, береги ясны глазки.

Качала головой, глядя на входящую во двор после утренней пробежки Женю:

— Внук у меня богатырски давит топчан до обеда. — Баб Уля рассыпалась мелким смехом. — А внуца ни свет ни заря кобылкой по зеленым лугам скачет.

Любила гладить длинные, густые светло-русые Женины волосы:

— Ах, золотце, кабы от тебя досталась и моим правнукам этакая-то красота, а не жалкое их вяхиревское мелкотравье!..

Однажды ночью, тревожно проснувшись, Петр увидел за приоткрытой дверью, как бабушка молится в красном углу. Закрыв глаза, чтобы не мешать ее тихому предстоянию. Он понимал, что

с самого начала кротко хотела ребенка и Женя. Безо всяких ее слов ясно видел он в ней смиренное, но упрямое ожидание материнства. Прошел год, и другой, и третий. Ей было уже почти тридцать. Никак у них с этим не получалось.

Однажды в конце весны, в теплых сумерках возвращаясь из школы после второй смены и силовой тренировки в спортзале, Петр вдруг обнаружил, что остановился у недавно восстановленной церкви. Раньше в райцентре был только один действующий храм. Как заново отстраивали этот, Петр отчего-то совершенно пропустил. Он решился заглянуть на огонек. Стоял чутко в тишине и в стороне, в полусвете, испытующе разглядывая здешнюю свечную и лампадную жизнь. Божьи люди и ангелы мягко смотрели на него со стен. К Петру вышел на амвон добродушный пожилой батюшка, поинтересовался, что же привело сюда гостя. Он долго и внимательно слушал Петра, изредка подсказывая, поддерживая разговор.

— Ты же за ответом пришел сюда, за советом? — ласково сказал наконец иерей. — Так ведь Господь снаружи советов не дает, только изнутри.

— Какой же тогда смысл в этом вот во всем? — с внезапной запальчивостью спросил Петр, обводя рукой пространство храма.

— Какой?.. — На миг батюшка задумался. — А ты в руку свою взгляни.

Петр опустил взгляд, в руке он держал литровую бутылку с водой.

— Это просто вода, — сказал он. — И что?

— Не вода, не вода, а бутылка, — поправил батюшка. — В ней какой смысл?

— Пф-ф, да никакого! Пластиковая бутылка из гастронома, — сказал Петр.

— Э, нет, друг мой! На привычном-то или на бегу мы все бестолочи. А откровение — оно неброское, очевидное. Ты глаза расщурь, остановись: смысл во всем есть — и тут есть. Такой в твоей бутылке смысл, чтобы узнать, как всегда можно воду взять с собой.

От новооткрытой церковки до их дома было минут десять ходьбы. Петр брел, наверное, полчаса, не меньше. Проходя проулками, увидел вдруг, как ясное небо над пятиэтажками коротко расчертил метеор.

— Креститься нам с тобой надо бы, — сказал он тем вечером.

— Нам надо найти хорошего врача, — ответила Женья.

Они встали в очередь на ЭКО. Ждать пришлось долго. Первая процедура закончилась неудачно, и Женя записалась снова. Во второй раз что-то опять пошло не так, как планировали врачи. Все звезды наконец сошлись только с третьей попытки. Но беременность оказалась очень болезненной и трудной. Осложнения не давали Жене покоя, о котором она мечтала, избавившись от своих учительских хлопот; то и дело приходилось вызывать скорую. Петр подолгу пропадал в школе, трудный был год. Женя пропадала. «Не ошиблась ли я, — думала она, измученная, в очередной — который уже по счету — заход лежа на сохранении в областном центре. — Какое же это, — думала, — уродливое слово: “плод”. Он забирает мою жизнь, он выворачивает меня».

Всю ту сырую и злую осень она безвыходно провела в больнице. Наконец в середине ноября ей сделали кесарево.

Сына они назвали Матвеем.

— Дар Божий — вот что это значит, — сказал Петр, когда обсуждал с женой имя малыша.

— Ладно, — ответила она.

В тот день на УЗИ им сообщили, что у Жени будет мальчик. Заранее они как-то остерегались загадывать об имени. А в тот день — в машине по дороге домой — Петр представил своего ребенка и впервые назвал его. Матвей, дар Божий.

— Теперь все будет хорошо, никто и ничто сына у нас не заберет, — сказал он жене.

— Ладно.

После рождения ребенка Женя долго не могла понять, что же произошло. Тело наконец избавилось от тягости, но, выяснилось, с ней Женя утратила и свободу. В одних тисках сжимали голову, в других — сердце. То ли ей казалось, что ее исподволь обманули, то ли казалось ей, что обманывает она сама. Всех: врачей и медсестер, мать и свекровь, золовок и деверя. Обманывает мужа и своего новорожденного сына. Все помогали ей, но она знала, что это делается не ради нее, нуждающейся в помощи, а ради малыша.

Дни проходили как в тумане. Она потерялась, блуждая в нем, она сама стала этим туманом — как будто все протягивали ей руки, но Жене больше нечем было держаться. К болезненному состоянию, к слабости и душевной усталости примешивалось чувство разочарования, ощущение того, что она потерпела какую-то чудовищную, самую главную в своей жизни неудачу, неудачу решающую и окончательную и что теперь исправить уже ничего нельзя. Женя мечтала об одном и даже была готова отчасти к другому, но ей подсунули вообще третье, совершенно отличное от ее представлений и ожиданий. И она вынуждена была смириться с новыми формами дня и ночи, вынуждена была принять и играть назначенную роль.

Женя стыдилась своего равнодушия к младенцу. Она принуждала себя улыбаться ему и по-матерински

переживать за него во время болезней. Старалась ни на мгновение не оставлять малыша без присмотра, когда они были наедине. Ее пугало то, как ужасно много обнаруживалось вокруг них возможностей его потерять, вдруг упустить что-то, где-то недосмотреть. Она очень боялась за ребенка, она оберегала его от себя самой.

Так начиналось ее материнство. Таким был первый год ее второй жизни.

Почти весь первый год жизни Матюша сильно болел. Он был крепок тельцем и неутомимо подвижен, когда здоров, но вот всякая дрянь цеплялась к нему, как к намагниченному: то ли отец, сам не болевший, приносил в семью вирусы из школы, то ли судьба, развлекаясь, пока не наскучит, испытывала терпение молодых родителей. Потом уже как-то стало полегче. Да и Женя почувствовала, что ее отношения с малышом понемногу, исподволь начинают настраиваться, словно некий сложный механизм или музыкальный инструмент. Она кормила грудью пятнадцать месяцев, больше не выдержала, сдалась.

Мальчик рос красивым, русоволосым, кудрявым, хорошо сложенным. С двух с половиной лет родители начали возить Матвея в деревню к бабушке Уле. Природная жизнь, казалось, стала для него каким-то единым чудом. С потешной для взрослых серьезностью изучал он своими серыми глазами деревенских людей, домашнюю живность, птиц небесных над полем и насекомых в огороде, деревья и кустарник в лесу, полевые цветы и растущую в бабином огороде рассаду.

— Они все одинаковые, баба. — Малыш указывал старушке на россыпи ромашек у забора или на веселые анютины глазки. — Смотри, а каждый из них по-своему одинаковый.

Ульяна Леоновна души не чаяла в правнучатом своем птенце. Однажды, когда сосед дядя Илья Аврамов в первый раз привел к ним в гости маленького сына Алешу, Матвеева ровесника, лишь полугодом старше, то Матюша так обрадовался, что бросился целовать руки новому другу. Баб Уля умиленно сложила сухие ладошки у сердца — и тихо плакала потом ночью.

— Это наш дом, здесь мы теперь всегда будем жить, — сказал Петр, когда они впервые пришли втроем в их новую городскую квартиру.

— Разве можно жить всегда? — удивленно спросил сын.

— Ну не всегда, наверное, — взглянув на мужа, ответила за него Женя, — но часто, счастливо и очень долго.

— По крайней мере, малыш, в этом доме все наше, — сказал Петр.

Мальчик задумался, сосредоточенно молчал, пока они раздевались и снимали обувь в большой прихожей, а затем произнес:

— Нет-нет, папа. Наше — наше. А всё — все-нее.

Их новый дом был просторным, светлым, уютным. Они поделили комнаты — и каждому досталась своя. Матюше стало теперь привольно носиться сломя голову вдоль и поперек широко раскинувшихся владений, устраивать поселения игрушек в разных уголках квартиры, собирать пазлы, рисовать на стенах, которые Женя предусмотрительно догадалась покрасить, а не заклеивать обоями. Впервые увидав эти варварские росписи за дверью в детской, Петр вспыхнул и крепко отлупил шкодника. Женя смолчала. Эффект от порки оказался, впрочем, кратковременным — и в дальнейшем родители, обнаружив очередное художество сына,

только кротко вздыхали и отправлялись в ванную за тряпкой и мылом. Они стали водить его в кружок живописи, отдали в школьный бассейн на плавание и в детскую театральную студию при Доме культуры. Двоюродная сестра Ася с любовью учила Матвея фотографировать то, что видимо человеческому глазу, и рисовать то, чего глаз обыкновенно не видит. Английским Женя занималась с ребенком сама.

Появились и новые игры у сына с отцом. Петр возвращался из школы, ужинал, и вот тогда-то Матюша, уже на последнем пределе терпения, наконец возглашал: «Итак, я хочу странствовать!» Ему плотно завязывали шарфом глаза, отец подхватывал ребенка на руки, и они вместе кружили по комнатам. Когда Петр останавливался, сын должен был угадать, в какой из комнат они сейчас находятся. Чаще он отвечал правильно, но иногда ошибался, однако, кажется, делал это нарочно — потому что весело.

Бывало, родители ругали его, когда он совсем уж перегибал с вольностью. Обижался. «Вот был бы я птичкой, — вздыхал удрученно, — улетел бы в другой дом и жил там с другими родителями, которые все мне разрешали бы».

Случалось-то всякое. Женя уставала: изо дня в день смотреть за сыном, гулять с ним, стирать, готовить, убирать, принимать дома учеников — все это выматывало ее; бывало, она долго не могла

уснуть или необратимо просыпалась среди ночи и сидела в одиночестве на кухне. Их с Петром разговоры начали похаживать вдоль прозрачных границ спора и ссоры. Матвей же не выносил повышенных тонов: наверное, ему казалось, что раз голоса родителей подменили, то следом собираются подменить их самих. Всякий раз, чувствуя во взрослых раздражение, он сейчас же бросался спасать их общий маленький мир. То с простодушной хитростью пытался чем-то отвлечь папу или маму — вопросом, просьбой, историей, любой приходившей на ум ерундой. То, приняв потешно серьезный вид, приказывал им немедленно остановиться и разойтись по своим комнатам.

— Ты настоящий мужчина, — буркнет, бывало, отец, — всегда маму защищаешь. Но муж и глава семьи здесь все-таки я, — продолжал Петр.

— Ты мамин муж, — подтверждал Матвей. — А я ее рыцарь.

— Рыцарь как-то скудно. Ты мой маленький принц, — говорила Женья.

— Тогда уж, — уточнял отец, — ангельский царевич.

Они смеялись — и никто никуда не расходился.

Он рос миролюбом и миротворцем, этот из Петра и Жени сделанный человечек.